

ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

© 1996 г. П.Б. ПАРШИН

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОРОТЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МЯТЕЖ В ЛИНГВИСТИКЕ XX ВЕКА

Если взять на себя смелость отделять историю научной дисциплины от ее – путь богатой гениальными прозрениями и незаурядными локальными достижениями – предыстории¹, то в случае науки о языке окажется, что собственно история ее укладывается всего лишь в два столетия. Поэтому подведение итогов XX века в лингвистике – это размышление о доброй половине пути ее развития. К тому же в силу некоторой исторической случайности лингвистике довелось не просто числить века своего существования более или менее целыми столетиями христианского летоисчисления, но и начать свой второй век с самой значительной в своей истории научной революции, связанной со становлением структурного подхода к изучению языка². Таким образом, близящееся к концу второе столетие лингвистики – это не только "юбилейный квант", но и вполне органично вычлняющийся п е р и о д в ее развитии.

В течение этого периода наука о языке пережила больше идейных трансформаций, чем за первое свое столетие. Как известно, развитие науки в завершающемся столетии вообще сильно ускорилось, однако утверждать, что, скажем, физика или

¹ История научной дисциплины начинается с формирования соответствующего профессионального сообщества, осознания им себя в таковом качестве (что обычно предполагает обретение дисциплиной своего названия) и последующей его институционализации (появления журналов, научных обществ, кафедр, университетских курсов, профессорских должностей, дипломов и ученых степеней по данной дисциплине и т.п.; для наук с подлинно долгой историей первые профессиональные сообщества были не только и не столько научными – например, жрецы). Критерий отделения истории от предыстории, таким образом, носит не внутринаучный, а внешний характер и поэтому нисколько не принижает предысторию в интеллектуальном плане.

² Предвидя возможные возражения, связанные с указанием на то, что "в лингвистике (и вообще в гуманитарных науках) парадигмы не сменяют друг друга, но накладываются одна на другую и сосуществуют в одно и то же время, игнорируя друг друга" ([Серно 1993: 52], цитируется по [Кубрякова 1993: 7]), замечу, что с этим последним тезисом никто особенно и не спорит, напротив, утверждение о том, что "сосуществование конкурирующих наборов направляющих предпосылок [термин, обобщающий куновское понятие парадигмы и его эквиваленты в других теориях – П. П.] в науке является скорее правилом, чем исключением" присутствует под номером 10 как раз в перечне позиций с о г л а с и я между различными теориями научных изменений [Laudan a.o. 1986: 155]. Тем не менее, отрицать существование научных революций можно лишь в порядке упражнения в парадоксах. Принципиально важно здесь то, что революция – хотя бы и в науке – категория не интеллектуальная, а с о щ и а л ь н а я, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посему совершенно обоснованной кажется также упоминаемая (в порядке полемики) в [Кубрякова 1993: 11] точка зрения Ф. Ньюмейера, согласно которой новая парадигма в науке – это то, с чем нельзя не считаться, или, по чуть более мягкой трактовке Дж. МакКоли, использующего для интерпретации парадигмы аналогию с маркированностью/немаркированностью в грамматике – то, пренебрежение чем не возбраняется, но предполагает "уплату более высокой цены" по сравнению со следованием парадигме [McCawley 1985: 24].

химия в XX веке развивались динамичнее, чем первая из этих дисциплин в XVII или вторая – в XIX веках, можно лишь с очень серьезными оговорками; для лингвистики же – применительно к ее двум векам – это именно так. Более того, по всеобщему мнению, с середины 70-х гг. процесс преобразований в науке о языке обрел некую новую динамику, описываемую как "выход за пределы предложения", "формирование прагматической парадигмы", "когнитивная революция", "коммуникативно-дискурсный подход" и т.п. Обилие подобного рода констатаций³ должно было бы наводить на приличествующую "юбилейному" контексту мысль о том, что в третий свой век лингвистика вновь вступит радикально преобразованной. Может быть; однако у меня на этот счет имеются некоторые сомнения, или, скорее, уточнения, которые и составляют предмет настоящей статьи.

Господствующая тенденция в осмыслении происходящих в настоящее время в лингвистике изменений заключается в рассмотрении их как некоторого е д и н о г о к о м п л е к с а. Такая точка зрения имеет под собой неоднократно проговаривавшиеся основания. Я не только не отрицаю серьезности этих оснований, но и намерен предложить некоторое свое (на мой взгляд, не противоречащее предложенным и до известной степени обобщающее их) видение общего вектора развития. В то же время, мне представляется более уместным сосредоточиться на демонстрации как раз того, что комплекс современных трансформаций не вполне однороден и по крайней мере некоторые его составляющие принадлежат по крайней мере двум р а з л и ч н ы м эволюционным рядам, развитие внутри которых далеко от синхронизации. С целью такой демонстрации я намерен обратиться к характеристике как современного состояния лингвистической науки, так и ее истории в терминах таких категорий, как "теория" и "метод".

Сразу хочу оговориться, что в рамках такого рассмотрения будут делаться утверждения большой степени общности и к тому же в ряде случаев не лишены полемичности. Очевидно, что при переходе к частностям многие из них могут быть оспорены; тем не менее, я полагаю, что такое описание некоторой общей тенденции, которое предлагается ниже, имеет право на существование.

1. ЛИНГВИСТИКА XX ВЕКА: "ОБЩИЙ ВЕКТОР" РАЗВИТИЯ И ЕГО РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Никоим образом не претендуя на оригинальность (более того, с точки зрения философии, истории искусства или критической теории изрекая сущий трюизм), позволю себе сделать утверждение о том, что история лингвистики XX века достаточно отчетливо вписывается в общую динамику социального, культурного и интеллектуального развития завершающегося столетия, описываемую триадой "традиция – модерн – постмодерн".

В принципе, это вполне стандартная диалектическая триада (тезис – антитезис – синтез), но мнения относительно того, какая именно в с о д е р ж а т е л ь н о м отношении диалектика определяла историю лингвистики XX века, могут быть различными. Соответственно, данная триада (равно как и отдельные ее элементы, особенно последний, преимущественно меня здесь и интересующий⁴) может интерпретироваться разными способами. В их числе можно упомянуть, например, утверждение о переходе от "декартовской" (разум пассивен) к "гегелевской" (разум активен) парадигме в изучении языка [Marková 1982; Герасимов 1985]; изложенные в [Алпатов 1993] соображения о диалектике "системоцентричного" и "антропоцентричного" под-

³ В качестве примера приведу одну из самых недавних: "Принципиальный сдвиг в современной лингвистике, колоссальное расширение ее возможностей произошло тогда, когда лингвистика стала изучать высказывание в коммуникативной ситуации" [Падучева 1995: 227].

⁴ Более того, я принимаю упрек, в соответствии с которым излагаемая точка зрения отмечена некоторой абберацией, сводящейся к тому, что XX век оказывается излишне отождествляемым со своей второй половиной.

ходов⁵; достаточно давнюю уже программу построения "гуманистической лингвистики" [Yngve 1975]; "экспериенциализм" и идеи "телесного разума" (работы Дж. Лакоффа, в частности [Lakoff 1987]; см. также [Varela a.o. 1993]) и др. Пафос этих экспликаций в общем плане сводится к указанию на своего рода "антропологизацию" (в этимологическом смысле) лингвистики. Такая антропологизация, несомненно, имеет место, однако придание ей статуса основной движущей силы развития науки о языке в XX веке не кажется мне правомерным. Во-первых, антропологизация никак не описывает предшествующего развития, приходящегося на первые две трети XX века и осуществлявшегося под влиянием противоположного антропоцентрическому комплексу установок [Алпатов 1993], то есть приходится говорить (что, вообще-то, вполне допустимо) о маятниковом движении. Во-вторых, есть основания считать, что сама антропологизация производна от более общих и вполне однонаправленных факторов.

Мне представляется, что движение по триаде "традиция – модерн – постмодерн" сопряжено с различными стадиями осознания диалектики **альтернативности / неальтернативности мира и способов его освоения человеком**. Поясню сказанное на примерах как из лингвистики, так и из иных сфер.

А. В рамках **традиции** реальный мир, его компоненты и используемые при его интеллектуальном освоении категории (когнитивные артефакты, по терминологии М. Вартофского [Вартофский 1988]) рассматриваются как естественные в силу того, что не возникает реальной необходимости задаваться вопросом о том, почему они устроены так, а не иначе; более того, сама мысль о возможности иного их устройства остается практически не востребованной. Рефлексия, конечно, имеет место ("возможные миры", обсуждавшиеся и до Г. Лейбница), но скорее как некоторая роскошь – в основном на стыке философии и теологии. В практическом же плане действует система категорий, которая вполне адекватно обслуживает человеческую деятельность, в силу чего задумываться над тем, что на самом-то деле в них заложены результаты колоссального количества альтернативных⁶ выборов, не возникает нужды.

В своем традиционном облике науки, в особенности гуманитарные, включают в себе более или менее явный прескриптивный компонент, и отклонения от некоторых стандартов рассматривают как выход за рамки естественного положения вещей, в лучшем случае не представляющий интерес, в худшем подлежащий искоренению. Хорошим примером здесь может служить логика, претендовавшая в традиции на то, что она – в виде классической силлогистики – описывает "законы правильного мышления"; отклонения же от этих законов есть "нелогичность", т.е. нарушение логики как таковой. В аналогичном смысле "естественны" (и до поры до времени комфортны) установления традиционного общества, в котором, как неоднократно было замечено (особенно на примере необычайно длительной китайской социокультурной традиции), самоотлично представление о правильности (а не целесообразности) человеческого поведения; категории традиционной (в основе своей античной) грамматики; каноны искусства; представления о роли языка как средства передачи информации и т.п.⁷

Б. Модерн при таком понимании – это этап развития, обусловленный прежде всего осознанием **альтернативности** традиции, т.е. того, что мир и описывающие его категории вообще-то могут быть устроены иным, чем зафиксированный в традиции, способом. Так, приходит понимание того, что аристотелевская силлогистика описывает лишь **один** из **многих** не только принципиально возможных, но и реально используемых человеком способов рассуждений⁸ (или, по устному замечанию С.И. Гиндина, является теорией одного единственного из многих существующих видов текстов). Обращаясь к другим примерам, мы видим, что в обществе модерн характеризуется развитием некоторого комплекса социальных процессов, которые так просто и называются "модернизацией" (определенная атомизация

⁵ Сами термины, как замечает автор, позаимствованы из [Рахилина 1989].

⁶ Я позволю себе следовать употреблению термина "альтернатива" и производных от него для обозначения выбора из **многих** вариантов, пренебрегая этимологией латинского слова, обозначавшего дуалистический выбор.

⁷ В список сознательно включено не только качественно разнородные, но и не обязательно синхронизированные примеры. Хотя триада "традиция – модерн – постмодерн" (или, во всяком случае, осознание развития в терминах этой триады) характерны в целом именно для XX века, в каждый конкретный (в том числе и в настоящий) момент осознание разных компонентов мира и разных категорий может находиться на разных этапах движения по данной триаде (ср. ниже о категории истины); кроме того, с формированием новой традиции движение может воспроизводиться заново.

⁸ См., например, [Поспелов 1989].

общества и последующее формирование новых, контрактных в своей основе отношений⁹). В лингвистике – стараниями прежде всего американских дескриптивистов – обнаруживается, что сетка категорий античной грамматики является не только не единственно возможной, но даже и вовсе малопригодной для описания языков, далеких от "среднеевропейского стандарта" [Алпатов 1993]; в искусстве формируются совершенно новые и отчетливо полемические по отношению к традиции принципы изображения действительности; обнаруживается, что функция передачи информации может не без основания рассматриваться как лишь одна (и не очевидно, что главная) из функций языка [Виноград, Флорес 1995]; понятие истинности/ложности предстает как характеристика типологически весьма узкого класса языковых высказываний [Левин 1994] – и т.д.

В прагматическом плане переход к модерну всегда бывает обусловлен обнаружением о г р а н и ч е н н о с т и традиции¹⁰, хотя причины и формы такого обнаружения (в частности, радикальность отталкивания от традиции) могут быть различными – достаточно сравнить более или менее органическое вырастание новых задач (как, скажем, в логике) с драматическим крахом традиции перед лицом темпорально новой реальности (так оно в общем было в искусстве; ср. знаменитый тезис о невозможности рифмы после Освенцима¹¹) или с достаточно резким переосмыслением предыдущего этапа в результате выхода за пределы традиционного культурно-географического круга (возникновение дескриптивизма).

Подробно рассмотренный в [Алпатов 1993] на примере истории лингвистики переход от "уютного" традиционного антропоцентризма к "холодному" модернистскому системоцентризму¹², сопровождаемый ревизией и деконструкцией¹³ традиционных категорий, является, на мой взгляд, о р г а н и ч н ы м с л е д с т в и е м модернизации как осознания альтернативности: коль скоро объекты и артефакты, с которыми имеет дело человек, утрачивают единственность/естественность, включаются в некоторый парадигматический ряд и становятся предметом сравнительной оценки, то внимание познающего субъекта концентрируется на своеобразии элементов данного ряда и, следовательно, на их у с т р о й с т в е. В лингвистике, например, этому соответствует провозглашение в качестве основного объекта описания языка каков он есть, а не каков он должен быть ("переход от прескриптивности" к "дескриптивности"; кстати, данная формулировка довольно универсального для гуманитарных наук принципа развития как будто бы предложена именно в лингвистике, причем еще в XIX в., хотя отчетливое закрепление в качестве ценностного обязательства и даже основания для самоназывания этот принцип получил в американском дескриптивизме).

В. В силу полемических причин (они могут быть дополнены идеологическими и политическими, но последние две группы могут и отсутствовать) переход к модерну в той или иной степени сопровождается д и с к р е д и т а ц и е й традиции. **Постмодерн** ее р е а б и л и т и р у е т – либо уравнивая в правах

⁹ В XX веке эти процессы в ускоренном и вторичном (а потому наглядном) вариантах развивались за пределами "первого мира" и послужили объектом теоретической рефлексии.

¹⁰ Напрашивается весьма уместная "масс-культурная" цитата: "Твой двор – держава, но как-то утром / Ты понимаешь – мала держава" (Р. Рождественский).

¹¹ Реально модернистское искусство началось много раньше, но стимул был в общем-то тем же, я бы сослался здесь на раннюю военную прозу А. Бирса, осмыслявшую опыт Гражданской войны в США.

¹² Э. Сепир [1993: 478] противопоставлял "теплые объятия [традиционной – П.П.] культуры" "ледяной воде фрагментарного существования", имея в виду антропологию; однако его метафора применима и к другим сферам рассматриваемого нами развития, включая научные изменения.

¹³ Здесь необходимо сделать важную оговорку. Термин "деконструкция" с легкой руки французских теоретиков (Ж. Лакана, Ж. Дерриды) превратился в некотором комплексе гуманитарных наук в один из вербальных опознавательных знаков именно постмодернизма и постструктурализма [Вайнштейн 1992; Терминология 1992]. Лингвистика, однако, соотносилась и соотносится с этим комплексом весьма специфическим образом [вроде бы рядом и на виду, но на самом деле за стеной из пуленепробиваемого стекла], так что по моему ориентированному все же на лингвистическую практику разумению внутренняя форма термина "деконструкция" гораздо больше соответствует именно тому, что в истории лингвистики делалось структурализмом, постмодернизм же скорее по своему р е -конструктивен. Более того, я полагаю, что это касается не только лингвистики. В оправдание, пусть косвенное, такого понимания сошлюсь на тезис ветеранов тартуского структурализма, утверждающих, что во всяком случае отечественной структурализм с его острым осознанием альтернативности структур как раз соответствовал "французскому" представлению о постструктурализме: "У Лотмана в основе семиозиса лежит столкновение двух взаимонепереводимых, непримиримых языков. Какая уж тут структура! Борьба разных структур. Это и есть постструктурализм ... Безусловно, в русской семиотике ... тон задавали те, кого на Западе должны были бы назвать постструктуралистами" [Пятигорский и Смирнов 1995]. Со своей стороны, я скорее бы проинтерпретировал это как свидетельство вполне органической преемственности структурализма и постструктурализма (ср. ниже).

с другими альтернативами ("Anything goes" – возьмем на этот раз пример из науковедения [Фейерабенд 1986], благо наше обсуждение постепенно приближается к соответствующей проблематике, хотя вообще-то в наиболее чистом виде этот вариант постмодерна представлен в искусстве и отрефлектирован в искусствоведении), либо – что более интересно – пытаюсь понять, не стояло ли за традицией нечто более существенное, чем просто некая "косность". Как правило, *raison d'être* обнаруживается, и сводится он в общем к тому, что "традиционная альтернатива" (неважно, объективной или концептуальной природы) была так или иначе задействована в удовлетворительном (не обязательно оптимальном, как утверждал Г. Лейбниц в своей теодицее – ср. обсуждение соотношения оптимальности и удовлетворительности в [Simon 1976]) способе согласования человеческой деятельности с конкретными ее условиями. В силу этого реабилитация традиции имеет своим опять же вполне естественным следствием перенос внимания на человека как субъекта удовлетворения/неудовлетворения, т.е. постмодерн вновь, как и традиция, оказывается антропоцентричным, выполняя тем самым в диалектической триаде синтетическую роль. Модерн приносит осознание альтернативности; постмодерн способен к оправданию альтернативы, выделенной традицией.

Особенно отчетливо такое оправдание проявляется в естественных науках, рано осознавших (в данном конкретном примере этап модерна фактически отсутствовал), что мир таков, каков он есть (в частности, пригоден для жизни, но на самом деле и даже в неорганической своей части возможен) в силу того, что относительно небольшой набор мировых констант имеет такое, какое есть, а не какое-либо иное значение (в 60-е гг. это обстоятельство активно обсуждалось, в частности, в научно-популярной литературе).

Практическое оправдание традиции, конечно, имеет смысл лишь в той мере, в какой сохраняются условия, с которыми согласована выделенная альтернатива. Модернизация в принципе может быть необратимой даже с диалектической (в смысле "двойного отрицания") точки зрения; тем более излишне повторять общеизвестные тезисы о "спиральности" развития и о том, что традиционные ценности при реабилитации в общем случае переосмысляются, что описываемое развитие движимо не только диалектикой альтернативности/неальтернативности, но и диалектикой адаптационных процессов и т.п.

Для меня в контексте данной статьи существенно то, что постмодернистское оправдание традиции обеспечивает должную перспективу в оценке традиционного этапа и позволяет показать, почему традиционная альтернатива хотя бы была в свое время выделенной. Если вернуться к тем же примерам, что и в предшествующих пунктах, то мы увидим, что традиционная силлогистика, например, была выделенной среди логических систем в силу своей задействованности в важной во многих обществах юридической практике. Традиционное искусство занимало центральное положение в силу утилизации им ряда очень мощных и "органичных" инструментов эмоционального воздействия¹⁴. Традиционная лингвистика была такой, какой она была, поскольку до определенного периода круг ее задач не предполагал детальной, полной и непротиворечивой рефлексии языковой системы [Алпатов 1993]¹⁵, зато требовал адаптации идей и методов науки о языке к человеческим возможностям и опирался в этом на категории, заведомо психологически релевантные для языков "среднеевропейского стандарта" (а с другими в Европе имели дело лишь в очень ограниченной степени – иврит, арабский, степень "экзотичности" которых все же куда меньше по сравнению с языками североамериканских индейцев или Юго-Восточной Азии). Традиционные общества существовали в относительной изоляции и своего рода гармонии с широко понимаемой окружающей средой (гармонии, неоднократно и много кем прочувственно описанной), трепетное отношение к понятию истины веками поддерживалось со стороны как теологии, так и, с некоторого момента, естествознания¹⁶ ("раскачивает" же его развитие социальных наук) и т.п.

Следует заметить, что сохранение условий, создающее предпосылку не только для теоретической, но и для практической реабилитации традиции, имеет место не так уж и редко – так, в [Алпатов 1993] были упомянуты лингвистические задачи, при решении которых целесообразной остается опора на традиционный антропоцентризм, а в [Жоппл и др. 1992] была более подробно обсуждена действенность традиции в решении одной из этих задач – преподавании иностранных языков. Важно, однако, то уже оговоренное

¹⁴ Ограничимся примером литературы (вербальное искусство все-таки, а речь в настоящей статье в конечном итоге идет о науке о языке), в которой одним из основных объектов модернистской дискредитации был традиционный сюжет; между тем, современные нарратология и когнитивная наука, а отчасти и философия истории вполне убедительно показывают, сколь значимы повествовательные принципы в организации как человеческих знаний о мире, так и эмоциональной сферы человека – см., например [Gallie 1964; Alker a.o. 1985; Олкер 1987; Цымбурский 1993].

¹⁵ Исключение составляет создание письменностей, особенно алфавитных – сугубо структуралистское, как известно, занятие.

¹⁶ О роли своего рода союзнических отношений между ними в генезисе науки Нового времени см. [Визгин 1995].

обстоятельство, что осознанный и "выстраданный" выбор традиционной альтернативы – если оказывается, что ее есть – таки за что выбирать – представляет собой шаг вперед по сравнению с неосознанным нахождением внутри нее. Даже воинствующий, традиционализм альтернативен и интеллектуально не девственен (хотя в наиболее агрессивных, фундаменталистских формах и стремится девственность восстановить и навязать). Традиционализма внутри неосознанной традиции не бывает по определению.

Итак, наличие некоторого единого вектора в развитии лингвистической науки и, более того, почти всех гуманитарных наук и, шире, способов гуманитарного познания в XX веке не вызывает сомнения. При этом, однако, следует понимать, что развитие их осуществляется в достаточной мере а с и н х р о н н о, в том числе и в пределах каждой научной дисциплины. Какие-то разделы могут находиться на постмодернистском этапе (тем самым давая основания для приписывания соответствующего статуса и дисциплине в целом), какие-то – наслаждаться модернистской (sic!) деконструкцией, а какие-то и вовсе пребывать внутри неосознаваемой в своем альтернативном качестве традиции.

Развитие от традиции к постмодерну через модернистскую стадию представлено (причем по очевидным причинам далеко не в последнюю очередь) и в науке о науке. В силу этого, провозгласив свое намерение проставить акцент на хотя бы отчасти д и ф ф е р е н ц и а л ь н о м рассмотрении истории и современного состояния лингвистики и вознамерившись продемонстрировать своеобразие отношений между теоретическим и методологическим ее развитием, я не могу не отметить того обстоятельства, что категории теории и метода сами по себе тоже подверглись модернистской деконструкции. В науковедении последнего тридцатилетия ("пост-куновском") введение таких категорий, как "парадигма", "исследовательская программа" (И. Лакатос), "исследовательская традиция" (Л. Лаудан), "тема" (Дж. Холтон), "глобальная теория" (П. Фейерабенд) означало, помимо прочего, и снижение статуса традиционно базовых для методологии науки и гносеологии вообще понятий "просто" теории и метода. Так, в наиболее дробном и "экстенсивно" полном из известных мне перечне соответствующих феноменов, предложенном Х. Олкером под длинным названием "Схематическая рамка для обсуждения развивающихся исследовательских парадигмальных комплексов" [Alker 1979], упоминание метода вообще отсутствует, что же касается понятия теории, то в числе элементов исследовательского комплекса упомянуты лишь "вспомогательные измерительные теории". Место традиционных категорий теории и метода занимают гораздо более специальные или, по крайней мере, технически легче определяемые (по крайней мере, в рассматриваемом аспекте) понятия онтологий, космологий и аналогий; эвристик; убеждений; примеров и парадигмальных образцов; стандартов; ценностных обязательств; моделей; идеальных типов; формализмов и т.п.

У подобного рода декомпозиции имеется более чем достаточно оснований, и она, несомненно, позволяет дать весьма детализированное описание структуры, процессов порождения и контекста бытования научного знания. Мне, однако, представляется, что традиционные понятия теории и метода также могут быть подвергнуты не только модернистской деконструкции, но и постмодернистской реабилитации¹⁷. Во-первых, они обладают несомненной психологической и прагматической реальностью. Во-вторых, и это главное, они позволяют сделать некоторые обобщения относительно истории лингвистики XX века. Поэтому, вполне осознавая неэлементарный характер категорий "теория" и "метод", я, однако, обращаюсь в дальнейшем именно к ним.

¹⁷ Опять же приходится оговориться, что в некоторых отношениях науковедение "от Куна и после" само по себе является постмодернистским по отношению к модернизму позитивистской и неопозитивистской традиции, а П. Фейерабенд, например, и вовсе включается в число столпов постмодернизма (уже за один свой воспроизведенный выше знаменитый лозунг).

2. ТЕОРИЯ И МЕТОД В ЛИНГВИСТИКЕ XX ВЕКА: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

В соответствии со сказанным выше, понятия теории и метода будут далее рассматриваться как преимущественно традиционные и существенным образом антропоцентричные (хотя, как будет показано ниже, сами по себе они тоже задают своего рода мини-шкалу системоцентричности/антропоцентричности, модерна/традиции и т.д.), что дает мне основание – не отвергая результатов их модернистского рафинирования, более того, принимая их во внимание – опираться на **интуитивно-прагматическое** понимание этих категорий. Это интуитивно-прагматическое понимание, в отличие от его логико-гносеологической концептуализации, акцентирует внимание не на связи теории и метода (каковая, конечно же, имеет место; любой метод опирается не некоторую теорию, пусть даже слабо проартикулированную), а на различную роли их в процессе познания.

Итак, с интуитивно-прагматической точки зрения **теория** – это прежде всего некоторая когнитивная модель объекта, по мере возможности удовлетворяющая определенным "внешним" (верифицируемость/фальсифицируемость, описательная и объяснительная адекватность) и "внутренним" (эксплицитность и самосогласованность)¹⁸, (полнота) критериям совокупность представлений о том, как устроен и функционирует объект (**описание**), обычно дополняемая представлениями о том, почему они устроены и функционируют именно так (**объяснение**)¹⁹. По-видимому, идеализированная когнитивная модель теории фиксирует требование объяснительности; представление о чисто описательной теории уже представляет собой некоторое насилие над интуицией. Впрочем, при этом следует учитывать, что понятие объяснения опять же носит в сильнейшей степени прагматический характер²⁰ и способно интерпретироваться многими разными способами.

Интуитивно-прагматическое представление о методе, которому я буду следовать, формулируется с большей долей полемичности. А именно, **метод** – это достаточно общепризнанный способ получать ответы на некоторый фиксированный набор вопросов о конкретных объектах из охватываемого теорией класса ("решение головоломок" в "нормальной науке"). Очень существенно, что наборы вопросов и стандартных способов их решения являются важной составной частью научной парадигмы. Утрируя, позволю себе утверждать, что в социально-психологическом плане овладение научным методом означает приобретение знания (sic! – ср. ниже) о том, каким образом в широком классе исследовательских ситуаций можно, что называется, "трясти, а не думать", не рискуя при этом своей научной репутацией. Иначе говоря, метод должен отвечать двум принципиально важным критериям. В социологическом (чтобы не сказать этологическом) плане он должен обладать свойством общепризнанности (диссиденты не в счет, они есть всегда, что, видимо, обусловлено биологически). В психологическом – тем, что, переосмысливая рок-терминологию, хочется назвать "операциональным драйвом": метод должен хоть в какой-то мере "заводить" исследователя.

В лингвистике XX в. и особенно последних его десятилетий класс ситуаций "трясения" оказывается относительно з а у ж е н н ы м. Существует множество иссле-

¹⁸ В частном случае – непротиворечивость; однако теория противоречивого объекта (например, некоторых систем убеждений) может быть и противоречивой – ср., например [Левин 1970: 69].

¹⁹ Позволю себе не вдаваться в обсуждение не существенных для меня здесь отношений между категориями теории, модели, гипотезы и репрезентации.

²⁰ В принципе, к нему может быть применена та же схема неформального и как бы даже несерьезного определения, которая была когда-то предложена в одной из лекций В.А. Успенского для понятия доказательства: объяснение (как и доказательство) – это текст, ознакомившись с которым человек готов идти к другому человеку и использовать этот текст для объяснения (доказывания).

довательских ситуаций, в которых конкретный метод исследования приходится р а з р а б а т ы в а т ь – либо откровенно ad hoc, либо с претензией на ту или иную степень универсальности; апелляция же к существующим методам и/или их адаптация к конкретным задачам сплошь и рядом считается зазорной²¹.

Интерпретировать такое положение дел можно по-разному. Весьма распространено, в частности, настроение, с большим чувством выраженное в следующей пространной цитате: "Для творчески ориентированного ученого и/или школы такие образцы [образцы исследовательской практики, зафиксированные в научной парадигме – П.П.] вряд ли вообще существуют, а инакомыслие расценивается в научных кругах скорее положительно, нежели отрицательно. Точно так же зрелая наука, конечно же, должна располагать определенной системой фундаментальных сведений о своем объекте и даже логических норм исследования, но она все же никак не должна предлагать готовых рецептов познания объекта. В кувонской формуле²² мы согласны с существованием в науке определенной модели постановки проблемы, но не модели решений" (Кубрякова 1993: 9); курсив оригинала – П.П.).

Профессиональная гордость, сквозящая в этих словах, более чем понятна, и способность достаточно легко адаптироваться к ситуации "поди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что" несомненно должна быть признана сильной стороной профессиональной компетенции лингвиста образца последней трети XX века. Тем не менее, рискуя предстать "нетворчески ориентированным ученым", я бы осмелился предположить, что лингвистике как дисциплине гордиться тут нечем: выраженное в цитате чувство должно рассматриваться как компенсаторное камуфлирование ("зелен виноград") м е т о д о л о г и ч е с к о й у щ е р б н о с т и современного лингвистического знания. Т. Гивон, известный своей склонностью к подчеркнuto новаторским решениям, когда-то писал, что необходимость извиняться за каждый выводной скачок и выдвижение идеи, фактуальные и дедуктивные основания которой гарантированы с менее чем стопроцентной надежностью, в любой научной дисциплине является данью ее интеллектуальной нищете" (Givón 1979: 311). Если такое говорится применительно к новаторской теории, то уж обращение к подлинно общепринятому методу тем более не должно бы вызывать неприятия. Никакой инженер не стыдится использования формул сопромата²³; наличие же у лингвиста душевного дискомфорта при обращении к методологическому инструментарию своей науки заставляет подозревать, что если не с методами, то по крайней мере с их рефлексией в этой науке что-то не совсем в порядке.

²¹ Не хотелось бы популяризовать подобного рода лексику, но в данном случае трудно не признать, что по-русски последнее обстоятельство социологически (и этологически) точнее всего описывает пресловутое уголовно-жаргонное выражение "западло". Впрочем, в [Лакофф и Джонсон 1987: 129–133] уже достаточно давно и элегантно было продемонстрировано, что в рациональном споре – и в научной дискуссии как его предположительно высшем проявлении – в полной мере, хотя и в завуалированной форме зафиксирован весь набор вообще-то признаваемых неблагоприятными приемов воздействия на оппонента (запугивание, угроза, лесть, ссылка на авторитет и т.д.), причем это обстоятельство обычно не осознается, а поэтому избавиться от таких приемов достаточно трудно: человек социален, а ученому не чужды человеческие проявления. Собственно, в демонстрации этого последнего обстоятельства и заключается основной пафос науковедения "от Куна и далее".

²² "Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений" [Кун 1977: 11].

²³ Можно возразить, что инженерное дело не есть наука. Пусть так (хотя у ч е н ы е степени по техническим н а у к а м присуждаются, причем у ч е н ы м и советами); однако и во многих более однозначно признаваемых научными видах деятельности опора на готовые методы весьма существенна и социально одобряема; в качестве примера можно привести, скажем, экспериментальную психологию или химию – в общем, те науки, в которых особенно важна роль воплощенного в методологию накопленного знания (когнитивных ресурсов).

Экскурс. На самом-то деле воспроизведенный выше тезис о принципиальной нестесненности научного знания, безотносительно к оценке его в терминах "хорошо–плохо", далеко не бесспорен и в эпистемологическом плане – и в силу этого чрезвычайно показателен и заслуживает специального комментария. А именно, утверждение об отсутствии фиксации в "настоящей науке" образцов решения находится все же в разительном противоречии с тем, что пишут по этому поводу практически все современные науковеды. Они, конечно, не во всем согласны с Т. Куном, однако утверждение о том, что «оценка направляющих предпосылок [обобщающий термин для категорий "парадигма", "исследовательская традиция" и др. – см. выше – П.П] столь же зависит от суждений об их потенциале, сколь и от достижений в их применении (records of performance), и первое не сводимо ко второму» фигурирует (под номером 5) как раз в упоминавшемся выше списке позиций соглашения между современными науковедческими теориями [Laudan а.о. 1986: 155]. Аналогичным образом, различного рода технические образцы, позитивные эвристики, свидетельства образцовых успехов и т.д. занимают весьма почтенное место в уже упоминавшейся схеме развивающегося исследовательского парадигмального комплекса [Alker 1979]. Таким образом, идеал "подлинно творческой" науки в оговоренном в приведенной цитате смысле оказывается весьма далеким от реальной исследовательской практики – и замечательным образом глубоко модернистским. Инакомыслие, бесспорно, было сверхценностью науки первых двух третей XX века (достаточно сослаться на знаменитое замечание Н. Бора о теории, "недостаточно безумной, чтобы быть истинной") и обусловило многие ее выдающиеся достижения. Сохраняет ли, однако, эта сверхценность свой нетленный характер на исходе века – вопрос с неочевидным ответом.

Достаточно интересно, что размывание модернистского идеала хорошо интерпретируется с точки зрения идейного развития искусственного интеллекта и когнитивной науки (когнитологии)²⁴ как дисциплин, изучающих человеческое мышление, в том числе и научное. Как известно, разделение этих дисциплин (=рождение когнитологии) в концептуальном плане было связано (помимо желания разграничить теоретическую и инженерную дисциплины) с отказом от доктрины универсального абстрактного интеллекта [Сергеев 1984] и с признанием того, что интеллектуальное поведение человека принципиально (а тем более практически) несводимо к применению некоторых "универсальных законов мышления": интеллектуальная деятельность связана с операциями над знаниями, т.е., вопреки известной максиме, "мудрость" все-таки отчасти производна от "многознания". Следствием этого признания было возникновение инженерии знаний, бурное развитие экспертных систем и т.д. Таким образом, тезис, утверждающий самоценность инакомыслия и резко ограничивающий право науки опираться на некоторые образцовые схемы именно решенных проблем (т.е. на некоторый немаловажный пласт именно знаний) оказывается не только фактически неверным, но и парадоксальным образом вдвойне анахроничным: в идейном плане он принадлежит в общем и целом пройденному (по крайней мере единожды) модернистскому этапу, а в плане своей явно прескриптивной модальности – так и вовсе этапу девственной традиционности.

Вернемся, однако, к проблеме метода в лингвистике XX века. На мой взгляд, история лингвистики XX в. – это история перманентного **методологического мятежа** (который, по известной формулировке Р. Бернса – С. Маршака, "не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе"), протекающего на фоне, а в значительной степени – и в форме последовательных **теоретических переворотов**.

В основе мятежа, несомненно, лежит сформулированное еще В. Гумбольдтом стремление перейти в изучении языка от "эргона" к "энергейе". Лингвистика XIX в. явно и открыто изучала "эргон" и разработала адекватный этой задаче "большой метод" (своего рода аналог "большого стиля") – **сравнительный**, в условиях господства историцистской познавательной установки оформившийся как **сравнительно-исторический**. В дальнейшем этот метод развивался к у м у л я т и в н о; интеграция в сравнительно-историческое языкознание теоретических достижений XX века (в том числе и связанная с введением в компаративистику

²⁴ Из трех существующих в русском языке переводов английского cognitive science ("когнитивная наука", "когитология", "когнитология") последний как будто бы постепенно утверждается в качестве стандартного. Не приветствуя такой выбор, но считаясь с ним, я в дальнейшем использую именно этот вариант.

некоторых структурных принципов) к радикальному слову методологии, разработанной вот уже более столетия назад, не привела²⁵.

"Большого метода" для изучения "энергей" не существует и поныне; частичным субститутом его служат теоретические инновации, вводящие в рассмотрение все новые **модельные конструкты**.

Первым (и поныне самым важным) таким конструктом было не что иное, как введенное Соссюром понятие **языковой системы**, принятие которого обусловило, соответственно, и самое значительное собственно методологическое достижение XX века – дистрибутивный анализ (с трансформационным ответвлением). Процедуры дистрибутивного анализа [Z. Harris 1951] во многом удовлетворяют оговоренному выше идеальному представлению о методе: вряд ли кому придет в голову упрекать их пользователя (особенно фоолога) в творческой несостоятельности. Однако применимость их ограничена в силу методологической ограниченности самого конструкта. По известной формулировке, восходящей к идеям Р. Якобсона, лингвистическая теория в ее привычном для XX в. виде занимается не чем иным, как **экспликацией интуиции** [Булыгина 1980а: 132; ср. Якобсон 1985: 362–363]. Вводя конструкт языковой системы, теоретическая лингвистика в методологическом плане **защищала свое право на прямой "доступ к недоступному"**. Верификация качественных утверждений при такой методологии могла осуществляться путем **лингвистического эксперимента** (в том числе **интроспекции**) и не предполагала обращения к речевой эмпирии как таковой (обоснование такого понимания эксперимента было дано Л.В. Щербой [Щерба 1974]). Несколько парадоксальным образом В. Гумбольдт, провозгласив, что "язык есть не продукт деятельности, а деятельность", на следующей же (в русском переводе) странице объявил, что "в общей картине языка наше чувство с большей ясностью и убедительностью воспринимает его отдельные и преходящие элементы, но исследователю не удается с достаточной полнотой формулировать воспринятое в четких понятиях" [Гумбольдт 1984: 70, 71], косвенно признав тем самым, что такое формулирование и составляет суть деятельности лингвиста. Гумбольдтовская "формулировка воспринятого в четких понятиях" – это "сворачивание" ментальных образований в компактные модели (причем компактность впоследствии стала рассматриваться как самостоятельное достоинство и даже верификационный принцип, ср. [Булыгина 1980а: 136–142; Кибрик 1992: 25–26]), адекватность которых можно проверить обращением к абсолютно недоступной в материальном плане и одновременно парадоксальным образом абсолютно доступной в интроспективной потенци языковой системе.

Обращение к "энергей", речевой деятельности, **реальному дискурсу** (на мой взгляд, наиболее адекватное обозначение предмета так в общем-то и не возникшей пока "энергей"-лингвистики) предполагает очень далеко идущее преобразование именно методологии (а не только и не столько модельной базы) лингвистического исследования. В идиллическую связку "Система – Модель" вторгается грубая эмпирия текстового корпуса и речевой деятельности, требующая выработки

²⁵ Это, конечно, не означает, что данный метод всегда хорошо работает. Он не слишком действенен при отсутствии фиксации достаточно древнего состояния родственных языков (а такая фиксация существует лишь для немногих языковых семей). Для таких случаев, как известно, М. Свадешом был разработан глоттохронологический метод, который, однако, отнюдь не рассматривается как альтернатива традиционной компаративистике. По некоторым предположениям, компаративистское исследование становится принципиально невозможным после полного прохождения родственными языками цикла "прагматика-синтаксис-морфология-фонетика-нуль-новая прагматика ..." [Givón 1979], поскольку при этом информация о материальном родстве необратимо теряется; по устному замечанию А.А. Зализняка, аналогичная гипотеза много раньше была высказана Ю.В. Кнорозовым. Весьма шаткой является семантическая составляющая сравнительно-исторического языкознания (хотя семантика и возникла первоначально как дисциплина историческая). Ни одно из этих обстоятельств, однако, не считается дискредитирующим сравнительно-исторический метод.

какого-то подхода к проблемам, от которых лингвистика, вводя дихотомии (Ф. де Соссюр, Л. Ельмслев, Н. Хомский – см. их суммарный анализ в [Звегинцев 1976: 7–12]) и трихотомии [Щерба 1974] своего объекта, обычно небезуспешно пыталась абстрагироваться. К числу таких проблем относятся, в частности, фактор реального времени, способы презентации больших объемов материала, воспроизводимость результатов, представительность выборки, достаточность опыта, статистические закономерности, особенности жанра и т.д.

Перечисленные проблемы очень различны; некоторые из них имеют, так сказать, естественнонаучный характер, другие, напротив, чрезмерно гуманитарны по меркам ныне действующего канона науки о языке. Все они, однако, схожи в том, что **п р о т и в о с т о я т** ряду базовых для последней "сворачивающих" эвристик, нацеленных на выявление возможно более абстрактных, компактных и универсальных структур.

Верификация утверждений, делаемых на основании анализа реального дискурса, также оказывается сопряженной с совершенно **н е п р и в ы ч н ы м и** для лингвиста подходами: воспроизведение описываемого феномена из относительно обозримой задачи интроспекции превращается либо в трудоемкую (и мало у кого вызывающую энтузиазм) задачу повторного анализа обширного материала, либо предъявляет несравненно более жесткие, чем это привычно для лингвистики, требования к проверке корректности уже не только исследовательских методов, но и процедур их применения.

3. ТЕОРИЯ И МЕТОД В ЛИНГВИСТИКЕ КОНЦА XX ВЕКА: СОСТАВЛЯЮЩИЕ "ОБЩЕГО ВЕКТОРА"

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что комплекс изменений, претерпеваемых лингвистикой последних десятилетий, **в н у т р е н н е н е о д н о р о д е н**: часть из них, более эффективная, продолжает линию теоретических переворотов, тогда как другие, более скромные с точки зрения своего облика, хотя реально более фундаментальные с точки зрения устройства лингвистики как исследовательского начинания, должны рассматриваться в рамках методологического мятжежа. Рассмотрим некоторые из принадлежащих каждой из этих категорий подвижек.

3.1. Эпизоды теоретических переворотов

3.1.1. Case study 1: когнитивная лингвистика. Одной из наиболее эффективных и радикальных по своим претензиям инноваций в лингвистике последней трети (реально даже четверти) XX века, несомненно, является когнитивная лингвистика (иногда называемая также когнитивной грамматикой). Возникла она тогда же, когда и когнитология, т.е. в первой половине 70-х гг. Этапы ее формирования и предъявления в русских переводах вкратце таковы (опять же, без предьстория и без учета лингвистически значимых результатов из когнитологии и искусственного интеллекта; о некоторых из их числа см. ниже). В 1975 г. термин "когнитивная грамматика" профигурировал в названии статьи [Lakoff, Thompson 1975]. В 1985 г. когнитивная грамматика была представлена отечественному читателю и в поньне наиболее удачном, хотя и сильно уже устаревшем обзоре [Герасимов 1985]; тогда же вышло из печати первое английское издание книги Ж. Фоконье [Fauconnier 1985] (французское – годом раньше), "погрузившего" в когнитивную среду традиционную логико-прагматическую проблематику. В 1987 г. были опубликованы первый том "Оснований когнитивной грамматики" Р. Лангакера²⁶ (благодаря своему названию и объему этот двухтомный труд – второй том появился в 1991 г. – сразу же приобрел "стандартно-

²⁶ Вообще-то фамилия этого исследователя произносится как Лэнакер, однако неправильное русское воспроизведение уже стало отчасти общепринятым. Строго говоря, и давно известная отечественному читателю фамилия Дж. Лакоффа на самом деле произносится с дифтонгом [эй] в первом слоге.

референциальный статус" [Langacker 1987; 1991]), этапные для данного направления книги Дж. Лакоффа [Lakoff 1987] и М. Джонсона [Johnson 1987], а также положившая начало целой серии монографий Р. Джакендоффа книга [Jackendoff 1987]²⁷. В 1988 г. в СССР появился посвященный когнитивным аспектам языка том "Нового в зарубежной лингвистике" [НЗЛ XXIII 1988]²⁸. С 1990 г. началось издание журнала "Когнитивная лингвистика" ("Cognitivo linguistics"), что можно считать началом институционализации дисциплины²⁹. "Немонографическими", но от этого не менее важными этапами развития когнитивной грамматики, были статьи Л. Талми (особенно [Talmy 1983; 1985; 1988a,b; 1995 a,b]), Ч. Филлмора [Филлмор 1988] и У. Чейфа (фактически одного из пионеров когнитивной лингвистики, во всяком случае, в моем понимании; см. [Chafe 1972; Чейф 1982; 1983]³⁰).

Хотя в реальной практике и приходится сталкиваться с выражениями типа "когнитивные методы", "методы когнитивной лингвистики" и т.п. (более того, мне и самому доводилось их использовать), "когнитивная революция" в лингвистике на самом деле может претендовать на методологическую новизну лишь при весьма либеральном понимании того, что есть методология. Обратившись к работам упомянутых выше признанных когнитивистов (а следует заметить, что на данном этапе развития когнитивной грамматики ее с наибольшим основанием можно рассматривать как совокупность индивидуальных исследовательских программ менее чем десятка широко известных авторов, так что дисциплина вполне адекватно поддается "экстенциональному" определению), легко обнаружить, что в плане методов исследования как таковых ими в основном практикуется то, что можно назвать "**сверхглубинной семантикой**" – с привычной для семантического (даже сильнее – грамматического) исследования опорой на интроспекцию и суждения информанта, обычно самого исследователя, относительно приемлемости/неприемлемости тех или иных языковых форм. Знакомство, например, с "Книгой второй" в составе монографии [Lakoff 1987], монографиями Р. Джакендоффа [Jackendoff 1987; 1992 и др.], упомянутыми выше статьями Л. Талми³¹ показывает, что их эмпирическим материалом являются в основном вполне привычные по "прагматиксису" последних десятилетий авторские примеры (т.е. лингвистическая интуиция авторов), размеченные по степени их приемлемости (в частности, грамматичности).

Differentia specifica т а к о й когнитивной лингвистики – это не столько введение в исследовательский обиход какого-то нового инструментария и/или процедур³², сколько снятие запрета на введение в рассмотрение неких новых "далеких от поверхности" теоретических, модельных конструктов (ср. [Николаева 1979: 9]). В когнитивной грамматике – и это, по-моему, может считаться основой ее определения –

²⁷ Этот автор интересен своей безуспешной попыткой эволюционного (по отношению к генеративизму), а не революционного формирования когнитивной грамматики.

²⁸ С современной точки зрения состав тома несколько перегружен логико-прагматическими и принадлежащими искусственному интеллекту работами, что является иллюстрацией сделанного в начале статьи утверждения о превалировании нерасчлененного рассмотрения современного развития.

²⁹ О завершении институционализации пока что говорить рано, да рассчитывать на суверенную институционализацию когнитивной грамматики "по полной форме" едва ли приходится в силу наличия объемлющей дисциплины (лингвистики) – в отличие от когнитивной науки, для которой такой объемлющей дисциплины все-таки не существует.

³⁰ Материал этих статей в переработанном виде вошел в появившуюся лишь недавно книгу [Chafe 1994].

³¹ Последний в личной беседе с автором согласился с определением своего подхода как "сверхглубинной семантики".

³² Показательно, что когнитология – по крайней мере в лице некоторых своих представителей – не чужда крайне скептического отношения к психолингвистическому, т.е. на самом деле психологическому эксперименту. Характерно в этом плане признание Р. Шенка: "Я не хотел проводить тщательно контролируемые эксперименты по запоминанию списков бессмысленных слогов. Я хотел знать, как люди общаются, как они порождают новые идеи и как они понимают идеи друг друга" [Schank, Childers 1984: x-xi]. С другой стороны, компьютерный эксперимент в стандартном "саймоновском" [Саймон 1972] смысле признается в когнитологии хотя и несомненной ценностью, но отнюдь не *conditio sine qua non*.

в качестве модельных конструкторов выступают **когнитивные структуры и процессы**, будь то когнитивные структуры типа фрейма [(М. Минский), к нуждам лингвистики это понятие было адаптировано Ч. Филлмором], идеализированной когнитивной модели (Дж. Лакофф) или ментальных пространств (Ж. Фоконье); $2^{1/2}$ -мерного наброска (Р. Джакендофф); семантико-грамматических суперкатегорий³³ наподобие конфигурационной структуры, динамики сил, распределения внимания, "цепции" и т.д. (Л. Талми); комплексных многоаспектных языковых конструкций (в специальном значении этого термина, предложенном Ч. Филлмором и П. Кэем)³⁴; когнитивных операции типа правил концептуального вывода [Шенк 1980] или же особого уровня изучения интеллектуальных систем – постулированного А. Ньюэллом отличного от символического "уровня знаний" [Newell 1982]³⁵. Смена познавательных устанонок (в смысле Ю.А. Шрейдера [Шрейдер 1979] – от "Ограничивайся непосредственно данным" к "Стремись проникнуть вглубь") в когнитивной лингвистике, несомненно, имеет место, но в какой степени при этом говорить о новых методах исследования – вопрос дискуссионный.

Строго говоря, сделанные общие утверждения о когнитивной лингвистике нуждаются в оговорках. Индивидуальные исследовательские программы когнитивной грамматики (при том, что степень совместимости между ними выше, чем можно было бы ожидать априори³⁶) далеко не тождественны; не одинакова и степень представленности в ней методологической составляющей. По крайней мере один метод, в сильной степени удовлетворяющий приведенному в предыдущем разделе прагматическому определению, в рамках когнитивной грамматики безусловно сложился – это **метафорический анализ** в варианте, предложенном Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Лакофф, Джонсон 1987]. Не буду здесь останавливаться на характеристике теории, стоящей за этим методом (и постулирующей метафору в роли фундаментальной когнитивной операции, обеспечивающей перенос образных схем из одной концептуальной сферы в другую) – для меня существенно то, что сведение разнообразных семантических отношений к достаточно элементарным (прежде всего пространственным) схемам, более того, во многих случаях схемам из заданного и уже исследованного списка³⁷, а также обнаружение коррелятов естественных для концептуальной сферы-источника следствий определенной ее организации в другой концептуальной сфере представляет собой весьма продуктивное, где-то даже захватывающее и при этом вполне респектабельное занятие. Вопрос о том, не является ли данная респектабельность преходящей (ибо лежащая в основе метафорического анализа теория не лишена доли дискуссионности), с синхронно-прагматической точки зрения не является принципиальным.

За данным единственным исключением в качестве "когнитивных методов" реально предстает апелляция к модельным конструктам – или же к методам иных наук (чаще всего психологии, а с недавних пор и нейронауки, ср. ниже). Не будем вдаваться в обсуждение междисциплинарного заимствования (здесь имеется ряд специфических

³³ Следует заметить, что в отечественной грамматической теории о возможности обнаружения/постулирования суперкатегорий еще в 1980 г. писала Т.В. Булыгина [Булыгина 1980б]; некоторая суперкатегория (впоследствии я обозначил ее как "сопоставительное выделение") была также рассмотрена мною в [Паршин 1984]. Очевидна также близость исследовательской программы Л. Талми и ленинградского (теперь петербургского?) варианта функциональной грамматики [ТФГ 1987 и др.].

³⁴ Их работа остается неопубликованной. Несколько модифицированная версия конструкционной грамматики представлена в [Goldberg 1995].

³⁵ В данный список включены представители (и, соответственно, идеи) не только когнитивной грамматики, но и искусственного интеллекта.

³⁶ Так, почти всем им присущ повышенный интерес к изучению языковых средств интерпретации пространственных отношений, причем результаты являются взаимно релевантными и взаимно признаются таковыми.

³⁷ Так, уже в 1989 г. для английского языка был составлен "Базовый список метафор" [Lakoff a.o. 1989], большинство из которых представлено, например, и в русском языке.

проблем), что же касается объяснения лингвистических феноменов когнитивными, то, со всеми возможными оговорками ("объяснение непонятого через неизвестное" и т.п., см., например, [R. Harris 1987]), оно представляется вполне продуктивным – и по-своему глубоко традиционным (достаточно вспомнить лингвистический психологизм конца XIX в.). Кстати, многие из возражений снимаются, если рассматривать программу когнитивной грамматики как и н е р с и ю традиционной психолингвистики. Последняя представляет собой выяснение психологической реальности лингвистических гипотез, их психологическое обоснование; иначе говоря, это применение психологической методологии к лингвистической теории, психологическое упражнение (психолингвистика – это, конечно же, никакая не лингвистика, а чистейшей воды экспериментальная психология), теоретическую ответственность за которое, однако, несет наука о языке. Когнитивная лингвистика устроена р о в н о п р о т и в о п о л о ж н ы м образом: это выяснение лингвистической реальности психологических гипотез³⁸, их лингвистическое обоснование, т.е. применение лингвистической методологии к психологической теории, профессионально-лингвистическая деятельность, теоретическую ответственность за которую, однако, несет психология. За неизвестное, таким образом, отвечает "дядя": позиция небезукоризненная, но при явном ее обозначении во всяком случае честная.

3.1.2. Все сказанное *mutatis mutandis* верно и по отношению к "прагматической революции", "формированию коммуникативного подхода" и т.п. И здесь налицо – несомненно, незаурядное как по результатам, так и по потенциалу – преимущественно т е о р е т и ч е с к о е развитие, сопряженное с постулированием новых объяснительных конструктов. Отличие от когнитивной грамматики заключается лишь в том, что в их качестве выступают не когнитивные структуры и процессы, а **деятельностные категории** – речевые акты, намерения и цели говорящих, максимы П. Грайса³⁹ (и Дж. Лича – [Грайс 1985; Leech 1983]), постулаты речевой коммуникации, лицо (в смысле Э. Гоффмана – П. Браун – С. Левинсона [Goffmann 1967; Brown, Levinson 1987]) и т.д. И здесь приходится сталкиваться с выражениями типа "методы теории речевых актов" [интересная внутренняя форма, не правда ли? – П.П.] или "методы лингвистической прагматики", за которыми реально скрываются не столько методические инновации (или вовсе не они), сколько опять же апелляция к модельным конструктам. Ближе всего к статусу метода в рамках лингвистической прагматики приближается пресуппозиционный анализ – но этим он обязан прежде всего наличию в нем логического, а вовсе не прагматического начала (если принять определение пресуппозиции как части смысла, инвариантной относительно отрицания, то на основании этого определения естественным образом выстраивается некий метод лингвистического анализа в оговоренном выше смысле; применимость этого метода, однако, оказывается весьма ограниченной, что стало ясно почти сразу). Собственно прагматическое же понимание пресуппозиции сильно выраженным "операциональным драйвом" не обладает.

Впрочем, при внимательном рассмотрении ситуация с лингвистической прагматикой оказывается более неоднозначной. Основанием взглянуть на нее более дифференцировано является, прежде всего, осуществленная на обширном языковом материале А. Вежбицкой [Wierzbicka 1991] впечатляющая демонстрация того обстоятельства, что претендующие на универсальность принципы прагматики языкового общения (те же максимы Грайса и др.) сплошь и рядом "сыплются" за пределами не то что сепировского "среднеевропейского" стандарта, но даже и при движении внутри него – при выходе за пределы англо-американского социокультурного круга. В принципе, с точки зрения излагаемых в настоящей статье взглядов это естественно интерпретировать как свидетельство пребывания лингвистической прагматики как

³⁸ На мой взгляд, парадигмальным образцом такого рода деятельности может послужить цикл работ У. Чейфа начала 70-х годов, в особенности "Язык и память" [Chafe 1972].

³⁹ Часто неверно называемого Г. Грайсом (он H. Paul Grice).

ча ст н о й дисциплины на домодернистском этапе – хотя возникновение лингвистической прагматики в рамках науки о языке к а к ц е л о г о б ы л о немаловажным компонентом модернизации последней. Так что с этой точки зрения ходячее выражение "методы лингвистической прагматики" не столь уж неоправдано: краткая история лингвистической прагматики, возможно, представляет собой микротрадицию, в рамках которой минимальные теоретические соображения успели переосмыслиться именно как база для некоей методологии.

3.1.3. Еще более показательным является пример лингвистики текста, призванной как будто бы реализовать лозунг "выхода за пределы предложения" или "лингвистики речи". И в данном случае, конечно, мне менее всего хотелось бы ставить под сомнение выдвинутые идеи или достигнутые результаты – они очень значительны. Здесь, однако, примат теории над методом проявляется, пожалуй, в наиболее отчетливом виде. Текст, которому до поры до времени вообще принято было отказывать в праве считаться объектом лингвистического изучения, изучается в текст-лингвистике "ван дейковского" образца (а именно этот вариант в силу незаурядной организаторско-публикационной активности голландского ученого задает современный стандарт) путем сопоставления ему привычных для лингвиста объектов – компактных структур, причем при явном тяготении к возможно более формальным структурным закономерностям в противоположность содержательным⁴⁰. В известной степени над лингвистикой текста тяготее т пропповское наследие, а в самом названии знаменитой книги ("Морфология сказки" – по современным меркам скорее синтаксис [Пропп 1969]) зафиксировано именно структурное, "сворачивающее", а отнюдь не "энергейное" видения объекта исследования⁴¹. Опять же, разработка набора структур м о ж е т рассматриваться как создание аналитического метода, и даже весьма провокативного, однако это вполне традиционный для лингвистики анализ продукта деятельности и никак не продвижение к анализу "энергей".

3.2. Эпизоды методологического мятежа

Параллельно теоретическим переворотам как недавнего прошлого, так и настоящего, но относительно независимо от них в науке о языке продолжается с о б с т в е н н о методологический мятеж, удачно инициированный классическим структурализмом, но отнюдь еще не "кончившийся удачей", суть которого заключается в попытке разработать методы для "прямого анализа" того, что выше было предложено называть **реальным дискурсом**. Сразу следует сказать, что появление их во многом остается делом будущего, притом весьма смутного: уж очень плохо совмещаются новые требования с языковедческим менталитетом, как модернистским, так и традиционным (в явном виде примат изучения языка/системы/компетенции провозгласил принадлежащий эпохе модерна структурализм, но, как следует из уже процитированного высказывания В. Гумбольдта, "другую сторону" соответствующих дихотомий не были склонны изучать и ранее⁴²).

⁴⁰ Показательно, что Т. ван Дейк аккуратно ввел д в а ряда терминов для обозначения соответственно формальных и содержательных глобальных текстовых структур (суперструктуры vs. макроструктуры, где "макроструктуры – это семантическое содержание категорий, входящих в суперструктурные схемы" [ван Дейк, Кинч 1989: 41]), однако в лингвистическом обиходе удержался лишь второй из этих двух терминов, причем чаще он применяется, пожалуй, как раз к формальной стороне текста.

⁴¹ Нарративным сюжетам могут быть сопоставлены и качественно другие типы структур (наиболее известны эмоционально-сюжетные структуры В. Ленерт [Lehnert 1982]; более подробный обзор см. в [Баранов, Паршин 1990; Цымбурский 1990]). Тем более это верно для других, не-нарративных типов текстов; однако общий подход остается тем же.

⁴² На самом-то деле можно составить очень длинный список подобного рода сетований, и их упорное воспроизведение все новыми и новыми поколениями лингвистов представляется далеко не случайным: стимулы к неудовлетворению явно никуда не деваются, а это означает, что за ними стоят какие-то очень мощные факторы.

3.2.1. Case study 2: понятие дискурса и подходы к его анализу. Выражение "реальный дискурс" было упомянуто выше с известной претензией на терминологичность, но без обсуждения. Между тем, категория дискурса занимает центральное место в большинстве современных эпизодов "методологического мятежа" и – не побоюсь такого сочетания – в дискурсе дискурс-анализа. Обсуждать здесь есть что.

У понятия "дискурс" довольно своеобразная история, в чем-то напоминающая историю понятия "парадигма" (кстати, и содержательно между ними имеется некоторая перекличка). Будучи изначально элементом понятийного аппарата лингвистики (З. Хэррис писал о дискурс-анализе – в некотором понимании, разумеется – более 40 лет назад [Z. Harris 1951]), оно приобрело по-настоящему широкую и слегка "туманную" (потому и широкую) популярность за пределами науки о языке – а именно, в некотором философско-социологическо-культурологическом облаке, клубящемся вокруг имени М. Фуко⁴³. Ныне это понятие уже в виде дискурса₂ возвращается в лингвистику, где встречает своего тоже определенным образом изменившегося "двойника". При этом некоторые существенные элементы идеализированной когнитивной модели дискурса₁ и дискурса₂ с о в п а д а ю т, что делает отношения между двойниками весьма своеобразными.

Становление понятия дискурса₁ и его выделение из некоего нерасчлененного представления о тексте/дискурсе (изначально два последних в некоторых национальных языковедческих традициях употреблялись почти синонимически) весьма подробно рассмотрено в справочно-энциклопедической статье Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1990]. Суммируя ее соображения и накладывая их на излагаемое в настоящей статье представление о "методологическом мятеже", можно сказать, что термин "дискурс" был востребован для обозначения некоторого очень своеобразного объекта – одновременно "более речевого, чем речь" (по изящной характеристике Н.Д. Арутюновой, «дискурс – это речь, "погруженная в жизнь"») и в то же время более "уловимого" и объективизируемого. Специально отмечая, что "анализ дискурса выполняется в основном описательными и экспериментальными методами" (sic! – при этом, как можно предположить, "описательные" методы противопоставляются "сворачивающим" структурным, а под "экспериментальными" явно понимается что угодно, только не лингвистический эксперимент в смысле Л.В. Щербы), Н.Д. Арутюнова фактически указывает на то, что анализ дискурса в том виде, который он приобретает с начала 80-х гг., озабочен не столько разработкой модельных конструкций (это прерогатива лингвистики текста и нарратологии, в т.ч. когнитивной нарратологии à la В. Ленерт), сколько методологическими поисками и попытками как-то понять, можно ли сделать более "прозрачным" способ извлечения обобщений из того в речевой деятельности, что доступно непосредственному наблюдению, и тем самым приблизиться к р е а л ь н о с т и (отсюда – мое желание терминологизировать понятие дискурса путем добавления атрибута "реальный") речевой деятельности, ослабив интуитивный компонент лингвистического исследования и приблизив методологию лингвистики к методологии естественных наук.

Экскурс. Автор крайне далек от того, чтобы утверждать, что такое приближение является безусловно желательным. Отнюдь не исключено, что оно принципиально невозможно, и ничего страшного в признании этого я не вижу – мало ли какие невозможности существуют в природе; вот, говорят, вечный двигатель построить невозможно. Тем не менее, ничего, что можно было бы считать д о к а з а т е л ь с т в о м такой невозможности, не существует, а при этом (в условиях, когда на эталон научности упорно претендуют все-таки естественная наука, физика; статус математики своеобразен) некая абстрактная желательность доведения методов лингвистики до стандартов "точных" наук остается, причем имеются в виду не позитивистские "дедуктивные" стандарты (практика модерна показала, что довести лингвистическое знание

⁴³ Здесь не затрагивается хабермасовское понимание дискурса – его лингвистическая релевантность невелика. Дать конкретную ссылку на использование понятия "дискурс" у Фуко, как известно, практически невозможно; оно синтезируется из всего его творчества.

до весьма высокой степени формализация вполне возможно), а более поздние попперовские стандарты, регламентирующие не столько формальную строгость (она подразумевается), сколько корректность в отношениях теории к действительности.

В современной лингвистике представлено несколько направлений, для которых позитивная эвристика "Ближе к реальности" (могущая в общих чертах рассматриваться как композиция шрейдеровских [Шрейдер 1979] эвристик I "Ищи конкретное, частное, особенное, индивидуальное" и III "Ограничивайся непосредственно данным") является работающей.

3.2.2. Прежде всего, здесь необходимо упомянуть преимущественно британское начинание, именуемое "**корпусной лингвистикой**", или "лингвистикой корпуса" (corpus linguistics) и инициированное прежде всего И. Свартвиком и Дж. Личем. Суть его была элегантно охарактеризована Ч. Филлмором в виде противопоставления "корпусной" лингвистики традиционной (на данный момент) "диванной" лингвистике⁴⁴. В случае возникновения диалога между "корпусным" (располагающим морем фактов и постоянно занятым подсчетом каких-то эмпирических закономерностей) и "диванным" (лежащим обхватив голову с закрытыми глазами и изредка подсказывающим с криком "Какой потрясный факт!") лингвистами, первый не без основания говорит второму: "Почему я должен считать, что то, что ты говоришь, верно?", а второй первому – "Почему я должен считать что то, что ты говоришь, представляет интерес?" [Fillmore 1992: 35]. Ч. Филлмор, определяющий себя как "диванного" лингвиста, который отказывается изменять своим привычкам, но находит пользу в использовании некоторых из ресурсов "корпусной" лингвистики, отмечает, что, во-первых, он не верит в существование корпуса – сколь бы велик он ни был – в котором можно было бы найти все потребные ему факты; во всяком случае, все известные ему реально существующие корпуса лингвистических данных неадекватны⁴⁵. Во-вторых – что-то такое, что никак не удалось бы найти другим способом, обнаруживалось во всех корпусах, с которыми он имел дело.

Из этих наблюдений делается вывод о необходимости "жить дружно" (а еще лучше – каждому совмещать в себе "диванного" и "корпусного" лингвиста). Спорить, с этим выводом не приходится, однако хотелось дополнить его указанием на то, что в споре между "диванным" и "корпусным" лингвистами (resp. лингвистиками) на кон поставлен важнейший методологический принцип – так называемый **принцип достаточности опыта**. В работе Е.Л. Фейнберга [Фейнберг 1992] этот принцип подробно анализировался с целью демонстрации принципиально неустранимой интуитивности суждения о достаточности эмпирических данных для теоретических обобщений как в физике, так и в других областях познания, да и человеческой жизни вообще (например, в этике). Для физика такой пафос понятен и более чем правомерен. В лингвистике дело обстоит несколько иначе – она в XX веке (или уж во всяком случае во второй его половине) вдоволь наслаждалась роскошью интуитивных суждений, не так чтобы уж очень задумываясь о подкреплении их эмпирией. Конечно, если тезис о принципиальной интуитивности перехода к теоретическим обобщениям верен, а так оно, скорее всего, и есть, то в этом, возможно, заключается высшая мудрость (все равно интуиция – верховный судья⁴⁶). Однако интуитивизм лингвистики XX века оказывается "не вполне выстрадаанным" (и в силу этого "дешевле стоящим"). Кроме того, ряд

⁴⁴ В оригинале – "кресельной", *armchair linguistics*, но на языке Обломова "диванная" звучит более естественно.

⁴⁵ Имеются в виду, так сказать, "актуальные", специально организованные базы данных (возможно и "потенциальное" понимание, при котором "корпус" превращается в теоретический конструкт примерно того же статуса, что и понятие языковой системы, ср. [Halliday 1992]) – типа Машинного фонда русского языка, бирмингемской базы данных COBUILD (Collins Birmingham University International Language Database) или DCI (Data Collection Initiative) Ассоциации вычислительной лингвистики.

⁴⁶ В конце концов, – пишет Ч. Филлмор, – никакого способа избежать опоры на интуитивное знание просто нет" [Fillmore 1992: 38].

лингвистических обобщений оказывается возможным лишь при более значительной, чем это было принято на протяжении многих десятков лет, опоре на эмпирическую реальность дискурса.

3.2.3. В частности, это касается современных исследований **грамматикализации**, основное допущение которых – дискурсное происхождение по крайней мере части грамматических категорий – предполагает исследование реальных форм и, более того, количественных закономерностей организации дискурса. В настоящее время теория грамматикализации представлена достаточно многочисленными публикациями (см., например [Givón 1984; QSD 1985; Heine a.o. 1991; Approaches 1991; Hopper, Traugott 1993]). Некоторых из нынешних ее приверженцев, судя по их предшествующим работам, очень трудно было представить как-то связанными с "квантитативной лингвистикой", большую часть времени занимавшей в науке о языке ощутимо маргинальную позицию. Такова, например, С. Томпсон – соавтор знаменитого в 70-х гг. сугубо структурного варианта семантико-синтаксической типологии языков [Ли, Томпсон 1982]. Тем не менее, она же выступила соавтором и работы [Hopper, Thompson 1984], во многом и инициировавшей развитие данного направления (отдельный импульс исходил от Т. Гивона; справедливости ради замечу также, что многие из эксплуатируемых в исследованиях грамматикализации идей достаточно давно высказывались в отечественной лингвистике, прежде всего И.И. Мещаниновым [Мещанинов 1978]).

Нынешнее обращение исследователей с подобной научной биографией к количественным методам, как можно предположить, обусловлено стремлением не п р и м е н и т ь наличные методы к какой-либо проблеме, а н а й т и методы для решения наличных проблем. Есть, кстати, основания полагать, что упомянутая выше маргинальность квантитативной лингвистики на протяжении большей части XX века (с некоторыми краткими вспышками интереса) и была обусловлена [помимо чисто психологической чуждости "счетоводства" вкусам и менталитету "диванного" большинства ("большинство" – моя оценка, возможно, ошибочная) лингвистического сообщества⁴⁷ (те, кому "счетоводство" не чуждо, обычно предпочитают иные сферы)] тем, что в ней как раз наблюдался ощутимый приоритет методов (к тому же достаточно отработанных за пределами лингвистики и оставляющих исследователю не очень много свободы) перед теорией⁴⁸. С точки зрения "мейнстрима" лингвистической мысли XX века такое соотношение большую часть времени воспринималось как постановка телеги впереди лошади⁴⁹. Наблюдаем ли мы в настоящий момент новый "отчаянный роман" или происходит более серьезное интеллектуальное преобразование – вопрос пока что открытый, однако все же складывается впечатление, что импульс на этот раз является более эндогенным.

В и н т е н ц и о н а л ь н о м плане исследования грамматикализации лежат вполне в русле теоретического развития лингвистики – это, как и в случае когнитивной лингвистики или лингвистической прагматики, усилия по п о и с к у о б ъ я с н е н и й языковых феноменов, например, различия имен и глаголов как языковой универсалии [Hopper, Thompson 1984] или же сочетания в прилагательных (семантически – словах,

⁴⁷ Уместно в этой связи вспомнить о некогда предлагавшейся А.К. Поливановой (в устном выступлении) классификации наук на основании типов удовольствия, получаемых их представителями от профессиональной деятельности.

⁴⁸ Очень показательным, что в [ЛЭС 1990] соответствующий фрагмент языковедческой практики представлен в статье "Количественные м е т о д ы".

⁴⁹ Между тем, классическое сравнительно-историческое языковедение – это, в общем-то, много методов ("сдувшегося" из общей интеллектуальной среды XIX века) и относительно немного теории, главным образом сводящейся к распространению на развитие языков организмической метафоры. Тогда, судя по всему, большинство сообщества этим не смущалось, в чем легко усматривается свидетельство общего изменения интеллектуального климата в двадцатом веке по сравнению с девятнадцатым. Разумеется, блестящие теоретики языка в XIX в. существовали, достаточно вновь упомянуть В. Гумбольдта, но их позиция была во многом обособленной.

обозначающих качества) именных и предикатных свойств – с преобладанием в различных языках морфологической и/или синтаксической фиксации первых или же вторых⁵⁰. Однако то, что предлагается в данной теории (или по крайней мере в некоторых ее вариантах) в качестве объяснительного фактора, носит принципиально иной характер – это не идеальный модельный конструкт, а закономерности того же лингвистического корпуса и реальной языковой деятельности. Между тем, их изучение практически неизбежно оказывается завязанным на разработку и/или заимствование в существенной степени квантитативной методологии – или уж во всяком случае каких-то способов в большей и более явной степени, чем это было принято на протяжении практически всего XX века, опираться на эмпирические данные. В достаточно решительной форме этот тезис в рамках обсуждения разбиравшейся выше "корпусной лингвистики" был сформулирован М.А.К. Хэллидеем: "С того самого момента, когда я впервые попытался стать грамматистом, мне всегда казалось, что грамматика – это предмет, в котором слишком много теории и слишком мало данных. ... Мой собственный взгляд всегда заключался в том, что трактовка грамматики должна признавать ее ингерентно вероятностный характер и не допускать каких-то скрытых переменных" [Halliday 1992: 61, 65]. Ему вторит У.Чейф, сетующий на то, что "большая часть современной лингвистики сосредоточена на построении сложных теорий, основанных на мелких и спорных наблюдениях" (кстати, психологии он предъявляет претензию в ровно обратном дисбалансе между гипертрофированной методической стороной и убогими архаическими теориями) [Chafe 1994: 11].

Излишне повторять, что грамматика такого типа, который предлагается Хэллидеем, в случае, если ее удастся реализовать, будет в очень значительной степени отличаться как от традиционной, так и от модернистской грамматики. Не уверен, можно ли будет вообще назвать грамматикой то, что получится. В этой связи уместно упомянуть те исследовательские программы, в которых действительно предпринимается попытка непосредственно приблизиться к анализу реального дискурса.

3.2.4. Одна из этих программ так и обозначает себя как "**анализ дискурса**" (он же дискурс-анализ и дискурсивный анализ, англ. *discourse analysis* – не в хэрисовом смысле, разумеется) и в общем воспринимается как находящаяся пусть и на краю, но все-таки "в лингвистическом поле". Тем не менее, ее исследовательская практика производит слегка шокирующее (при всем сочувствии к ее целям и восхищении исследовательскими усилиями) впечатление: замечательным примером ее может послужить 600-страничный (!) объем монографии А. Гримшоу [Grimshaw 1989], посвященный анализу одной-единственной двенадцатиминутной беседы. С точки зрения привычного лингвистического менталитета это – кошмар, заставляющий преклоняться перед автором, но одновременно и подозревать, что либо "энергейя-лингвистика" (или "лингвистика речи") невозможна в принципе, либо она вряд ли будет восприниматься в качестве составной части науки о языке. Впрочем, тривиальным и безотказным средством смены менталитета является смена поколений...

3.2.5. Очень показательно, что другая "дискурсно ориентированная" исследовательская программа – **этнометодология** – так попросту и считается разделом социологии. Едва ли случайно, что посвященная последней статья присутствует не в лингвистическом, а именно в социологическом словаре [СЗС 1990], причем упомянутые-таки в словаре лингвистическом [ЛЭС 1990] ее видные представители, Г. Сакс и Э. Щеглов, представлены в индексе к нему в "неполноценной" форме, без указания биографических дат (чужие!). И это при том, что этнометодология работает с очень даже

⁵⁰ Так, по С. Томпсон [Thompson 1988], такие слова имеют больше общих черт с именами в индоевропейских языках (по крайней мере, в большинстве их, за что и именуются в традиции именами прилагательными), арабском, иврите и по крайней мере некоторых чадских (афразийская семья), языках банту, по крайней мере некоторых дравидийских, тагальском, кечуа, дьирбале и некот. др., тогда как в китайском, тайском, лакота (ветвь сну америндийских языков), многих австронезийских и некот. др. (опускаю более экзотические языки из обоих списков) они ближе к глаголам.

лингвистическими данными, что прямо отмечается в [СЗС 1990: 421]: "Предмет Э – процедуры интерпретаций, скрытые, неосознаваемые, нерелексированные механизмы социальной коммуникации между людьми. Все формы социальной коммуникации сводятся Э. к речевой коммуникации, к повседневной речи".

3.2.6. "И все же, все же..." – интерес к более эмпирическому анализу реального дискурса несомненно является составной частью динамики развития лингвистической мысли конца XX века. Отчасти, конечно, это связано просто с колебательными движениями эвристического маятника: как и всякий маятник, он, достигнув крайнего положения, начинает двигаться в противоположном направлении – от примата теории к известной перестановке акцента на метод и данные. Существует, однако, и некоторый класс вполне актуальных практических исследовательских задач, который подталкивает лингвистическую мысль в ту же сторону. Одной из них представляется задача изучения политического дискурса, настоятельно нуждающегося прежде всего именно в методологическом осмыслении. Некоторые соображения в этом направлении были предложены в [Kobozeva, Parshin 1993]; к сожалению, ограниченный объем настоящей статьи не позволяет мне остановиться на данной проблематике (а также на соотношении понятий дискурс₁ и дискурс₂ и производного от последнего понятия "идеополитического дискурса", который, по моему убеждению, и должен стать основным предметом "политической лингвистики"⁵¹) с той детальностью, которой они заслуживают.

4. Заключение: теория vs. метод с культурно-психологической точки зрения

Итак, находится ли в настоящее время наука о языке накануне трансформации, сравнимой по глубине и сфере действия с той, которую ей довелось пережить на предыдущем "переломе веков"? Хотелось бы ошибиться (в истории науки зафиксированы грандиозные ошибки подобного рода), но изложенные выше соображения говорят в пользу скорее негати́вного ответа на данный вопрос в краткосрочной и среднесрочной (20–30 лет) перспективе.

Научная революция в лингвистике начала века представляла собой практически тотальное (отдельный вопрос – насколько успешное) отторжение моделей, познавательных установок и методологии предшествующего периода. На исходе же XX века мы видим череду теоретических, "модельных" переворотов, осуществляемых со значительной легкостью, зачастую параллельно и, в общем-то, встречаемых хотя и не без сопротивления, но достаточно благосклонно. Это именно перевороты, "coup de théologie", назвать которые революциями, откровенно говоря, несколько затруднительно. Век научных революций не только ввел в обиход, но в значительной мере дискредитировал само это понятие, и не ясно, что же такое еще должно случиться, что заставило бы всех более или менее солидарно промолвить: "Се революция".

Конечно, по давнему замечанию Дж. Лакоффа [Lakoff 1976], "отсутствие фантазии ничего не доказывает". Сам Дж. Лакофф, кстати, полагает, что великая революция уже началась, и связана она со все более реальной перспективой непосредственного выхода в качестве объяснительного по отношению к лингвистическим фактам уровня на субсимволические нейронные структуры и их функционирование⁵². Подозреваю, однако, что в случае реализации такой возможности это будет "слишком великая" революция, результатом которой станет просто формирование науки, очень во многом несовместимой с образом науки о языке вообще⁵³ – поэтому, кстати, идеи субсим-

⁵¹ Не слишком удачный термин; однако международная конференция именно с таким названием состоялась в декабре 1995 г. в Антверпене.

⁵² Данные соображения изложены в основном в неопубликованных пока, насколько мне известно, работах, в частности, "The neurocognitive self: conceptual system research in the 21st century and the rethinking of what a person is" (US Berkeley, 1995). Ср. также [Lakoff 1995; Regier 1995].

⁵³ Может быть, эта наука и будет называться лингвистикой, но заниматься ей будет уже совершенно иное научное сообщество. Впрочем, несколько десятилетий – это и так срок, задающий значительную степень чисто биологического его обновления.

вольных (коннекционистских) объяснений вызывают внутри лингвистики и даже отчасти внутри когнитологии энергические возражения людей, отнюдь не выглядящих записными ретроградами. Например, В. Ленерт пишет, что "если коннекционизм когда-либо возобладает в искусственном интеллекте, то нам придется иметь дело со вполне реальной возможностью того, что мы будем в состоянии смоделировать нечто без приличного понимания того, что оно из себя представляет" ([Lehnert 1987: 3]; сочувственно цитируется в [Meу 1989]). Впрочем, это будет означать всего лишь реанимацию раннекибернетических подходов, и, кстати, упоминаемая Ленерт возможность давно уже была рассмотрена в рассказах А. Азимова⁵⁴.

Итак, в плане теории относительно обозримое будущее сулит либо субреволюции-перевороты, либо суперреволюцию, фактически уничтожающую свой объект. В плане методологии дело обстоит существенно иначе, но обстоит таким образом, что суммарная картина тоже никак не соответствует модели тотального и относительно синхронного преобразования. Методологическая революция в XX веке в общем-то захлебнулась, так что подлежащего отрицанию канона просто нет. В содержательном плане то, что наблюдается в настоящее время (если отвлечься от заимствования чужих методов), скорее выглядит как определенного рода возвращение назад, к большому эмпиризму; кстати, лозунгу большого эмпиризма отнюдь не противоречит и идея анализа субсимвольного уровня – это тоже более эмпирическое начинание по сравнению с интроспекцией языковой системы, только эмпирия в данном случае другая.

Девятнадцатый век в лингвистике был веком метода, двадцатый – веком теории. Революция затронула именно теоретическое развитие; задачи методологической революции остаются веку двадцать первому, и в настоящее время они выглядят достаточно самостоятельными по отношению к процессам порождения новых лингвистических моделей.

Такого рода историческое развитие совершенно естественным образом коррелирует с представлением о движении по триаде "традиция – модерн – постмодерн". Метод антропоцентричен, интегрален, традиционен и создает комфорт – возможность спокойно и самоуважительно "трясти". Теория системцентрична, дифференциальна, современна и холодна – она накладывает обязательство "думать". "Думать", однако, предполагается с целью "получить банан", а достигнуть этой цели исключительно силой мысли едва ли возможно*.

Post scriptum. Автор менее всего хотел бы выступить в роли человека, прескриптивно провозглашающего, что лингвистика должна перестроиться на таких-то и таких-то принципах – скажем, стать более эмпирической. Во-первых, я склонен согласиться с уже достаточно давним тезисом Ю.А. Шрейдера [Шрейдер 1979] о нахождении познавательных установок (в том числе и баланса теории и метода в науке) "по ту сторону истинности и ложности", что, кстати, лишний раз напоминает об ограниченной сфере применимости этих категорий. Субъективное отношение к этому балансу может быть лишь прагматическим и указывать на то, насколько его актуальное состояние соответствует актуальным же задачам. Очевидно, что это соответствие динамично, и любые лозунги, призывающие к его изменению, могут носить только сиюминутный характер, если, конечно, не формулировать их в чисто реляционных терминах "надлежащести", своей для каждого конкретного момента. Во-вторых, я просто не усматриваю за собой права провозглашать даже прагматические лозунги. В-третьих, я не усматриваю его вообще ни за кем: наука может быть кому-то что-то должна в социальном плане (и действительно

⁵⁴ Существует и более мягкий вариант рецепции идей коннекционизма в лингвистике, предполагающий возможность их сосуществования с традиционными, семиотическими в своей основе представлениями, однако и в этом случае право последних на существование уж никак не оспаривается.

* Автор хотел бы выразить признательность В.М. Алпатову, А.Н. Баранову и А.Е. Кибрику, прочитавшим данную работу в рукописи и сделавшим ряд существенных замечаний. В.М. Алпатов, в частности, обратил мое внимание на то, что под XX веком в статье реально имеется в виду в основном вторая половина XX века. Разумеется, ответственность за ошибки, недочеты и прочие недостатки статьи всецело лежат на мне.

находится с обществом и государством в отношениях социального контракта), но в интеллектуальном плане (допустим все-таки, что таковой может быть вычленен) она, кроме себя самой, не должна никому и ничего. Малопривлекательный принцип единства прав и обязанностей к этой сфере неприменим. Все, чего мне хотелось бы показать – это наличие в лингвистике XX века определенного дисбаланса между теорией и методом, историческое смещение этого дисбаланса, а также некоторые его причины (или хотя бы корреляты) и следствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алатов В.М.* 1993 – Об антропоцентричном и системцентричном подходе к языку // ВЯ. 1993. № 3.
- Арутюнова Н.Д.* 1990 – Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Баранов А.Н., Паришин П.Б.* 1990 – Варианты и инварианты текстовых макроструктур (к формированию когнитивной теории дискурса) // Проблемы языкового варьирования. М., 1990.
- Булыгина Т.В.* 1980a – Синхронное описание и внеэмпирические критерии его оценки // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Булыгина Т.В.* 1980b – Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Вайнштейн О.Б.* 1992 – Деррида и Платон: деконструкция логоса // Мировое древо. 1992. № 1.
- Вартофский М.* 1988 – Модели: репрезентация и научное понимание. М., 1988.
- Визгин Викт.П.* 1995 – Эксперимент и чудо: религиозно-теологический фактор генезиса науки Нового времени // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3.
- Виноград Т., Флорес Ф.* 1995 – О понимании компьютеров и познания // Язык и интеллект. М., 1995.
- Герасимов В.И.* 1985 – К становлению "когнитивной грамматики" // Современные зарубежные грамматические теории. М., 1985.
- Грайс Г.П.* 1985 – Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Гумбольдт В. фон.* 1984 – О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Дейк Т.А. ван, Кинч В.* 1989 – Макростратегии // Т. А. ван Дейк. Язык, познание, коммуникация. М., 1989.
- Звегинцев В.А.* 1976 – Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
- Кибрик А.Е.* 1992 – Черки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Коппл Э., Латышева А.Н., Паришин П.Б.* 1992 – Обучение иностранным языкам: лингвистика и методика (идеи, проблемы, перспективы) // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1992. № 2.
- Кубрякова Е.С.* 1993 – Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // ИАН СЛЯ 1993. № 2.
- Кун Т.* 1977 – Структура научных революций. М., 1977. изд. 2-е.
- Лакофф Дж., Джонсон М.* 1987 – Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Левин Ю.И.* 1970 – Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970.
- Левин Ю.И.* 1994 – Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. Вып. 34. 1994.
- Ли Ч.Н., Томпсон С.А.* 1982 – Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI: Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М., 1982.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Мещанинов И.И.* 1978 – Члены предложения и части речи. Л., 1978.
- Николаева Т.М.* 1979 – Введение // Категория определенности – неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- НЗЛ XXIII 1988 – Новое в зарубежной лингвистике. Вып.: XXIII. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
- Олкер Х.Р.* 1987 – Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
- Падучева Е.В.* 1995 – Лингвистика нарратива: коммуникация и неканонической коммуникативной ситуации // Диалог-95. Труды международного семинара по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Казань, 1995.
- Паришин П.Б.* 1984 – Топик и "тоже": границы и интерпретация одной языковой оппозиции // Восточное языкознание: грамматическое и актуальное членение предложения. М., 1984.
- Поспелов Д.А.* 1989 – Моделирование рассуждений. М., 1989.
- Пропп В.Я.* 1969 – Морфология сказки. М., 1969. изд. 2-е.
- Пятгорский А., Смирнов И.* 1995 – О времени в себе: шестидесятые годы – от Афин до ахинеи // Независимая газета. 10 ноября 1995.
- Рахилина Е.В.* 1989 – О концептуальном анализе в лексикографии А. Вежицкой // Язык и когнитивная деятельность // Под ред. Р.М. Фрумкиной. М., 1989.

- Саймон Г.А.* 1972 – Науки об искусственном. М., 1972.
- Сепир Э.* 1993 – Культура, подлинная и мнимая // Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Сергеев В.М.* 1984 – "Искусственный интеллект" как метод изучения сложных систем // Системные исследования. Ежегодник 1984. М., 1984.
- Серио П.* 1993 – В поисках четвертой парадигмы // Философия языка: в границах и вне границ. Вып. 1. Харьков, 1993.
- СЭС* 1990 – Современная западная социология. Словарь. М., 1990.
- Терминология* 1992 – Терминология современного зарубежного литературоведения (страны Западной Европы и США). Вып. I. М., 1992.
- ТФГ* 1987 – Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Фейнберг Е.Л.* 1992 – Две культуры. Интуиция и логика в науке и искусстве. М., 1992.
- Фейерабенд П.* 1986 – Против методологического принуждения // П. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
- Филмор Ч.* 1988 – Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
- Цымбурский В.Л.* 1990 – Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // Когнитивные исследования за рубежом: идеи и методы искусственного интеллекта в изучении политического мышления. М., 1990.
- Цымбурский В.Л.* 1993 – Метаистория и теория трагедии: к поэтике политики // Общественные науки и современность. 1993. № 5, 6.
- Чейф У.Л.* 1982 – Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI: Современные синтаксические теории в американской лингвистике. М., 1982.
- Чейф У.Л.* 1983 – Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII: Прикладная лингвистика. М., 1983.
- Шенк Р. [и др.]* 1980 – Обработка концептуальной информации. М., 1980.
- Шрейдер Ю.А.* 1979 – Эвристика, или 44 способа познать мир // Химия и жизнь. 1979. № 1.
- Шерба Л.В.* 1974 – О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Л.В. Шерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Якобсон Р.* 1985 – О лингвистических аспектах перевода // Р. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.
- Alker H.R., Jr.* 1979 – From information processing research to the science of human communication // *Informatique et sciences humaines*. 1979. № 40–41.
- Alker H.R., Lehnert W.G., Schneider D.K.* 1985 – Two reinterpretations of Toynbee's Jesus: explorations in computational hermeneutics // *Artificial intelligence and text understanding (Quaderni di ricerca linguistica, 6)* / Ed. by G. Tonfoni. Parma, 1985.
- Approaches* 1991 – Approaches to grammaticalization / Ed. by E.C Traugott, B. Heine. Amsterdam; Philadelphia, 1991.
- Brown P., Levinson S.* 1987 – Politeness: some universals in language usage. Cambridge, 1987.
- Chafe W.L.* 1973 – Language and memory // *Language*. 1973. V. 49.
- Chafe W.* 1994 – Discourse, consciousness, and time: the flow and displacement of conscious experience in speaking and writing. Chicago: L., 1994.
- Fauconnier G.* 1985 – Mental spaces: aspects of meaning construction in natural language. Cambridge (Mass.; L., 1985).
- Fillmore Ch.J.* 1992 – "Corpus linguistics" or "computer-aided armchair linguistics" // *Directions in corpus linguistics* / Ed. by J. Svartvik. B., 1992.
- Gallie W.B.* 1964 – Philosophy and the historical understanding. L., 1964.
- Givón T.* 1979 – On understanding grammar. N.Y., 1979.
- Givón T.* 1984 – Syntax: a functional-typological introduction. V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
- Goffmann E.* 1967 – Interaction ritual. N.Y., 1967.
- Goldberg A.E.* 1995 – Constructions: a construction grammar approach to argument structure. Chicago; L., 1995.
- Grimshaw A.D.* 1989 – Collegial discourse: professional conversation among peers. Norwood (N.J.), 1989.
- Halliday M.A.K.* 1992 – Language as system and language as instance : the corpus as a theoretical construct // *Directions in corpus linguistics* / Ed. by J. Svartvik. B., 1992.
- Harris R.* 1987 – The language machine. Ithaca, 1987.
- Harris Z.S.* 1951 – Methods in structural linguistics. Chicago, 1951.
- Harris Z.S.* 1952 – Discourse analysis // *Language*. 1952. V. 28. № 1.
- Heine B. a.o.* 1991 – Grammaticalization: a conceptual framework. Chicago; L., 1991.

- Hopper P.J., Thompson S.A. 1984 – The discourse basis for lexical categories in universal grammar / *Language*. 1984. V. 60. № 3.
- Hopper P., Traugott E.C. 1993 – Grammaticalization. Cambridge, 1993.
- Jackendoff R. 1987 – Consciousness and the computational mind. Cambridge (Mass.), 1987.
- Jackendoff R. 1992 – Languages of the mind: essays on mental representation. Cambridge (Mass.), 1992.
- Johnson M. 1987 – The body in the mind: the bodily basis of meaning, reason and imagination. Chicago: L., 1987.
- Kobozeva I.M., Parshin P.B. 1993 – An analysis of selected language categories in U.S. and Soviet national security discourse: have linguists anything to say? // Security discourse in the Cold War era (New School for Social Research. Working Paper № 180) / Ed. by W.G. Gamson, P.C. Stern. N.Y., 1993.
- Lakoff G. 1976 – An interview with G. Lakoff // H. Parret. Discussing language. P., 1976.
- Lakoff G. 1987 – Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago; L., 1987.
- Lakoff G. 1995 – Embodied minds and meanings // Speaking minds: interviews with twenty eminent cognitive scientists / Ed. by P. Baumgartner and S. Payr. Princeton, 1995.
- Lakoff G., Thompson H. 1975 – Introducing cognitive grammar // Berkeley Linguistic Society. Proceedings of the First Annual Meeting. Berkeley, 1975.
- Lakoff G., Espenson J., Goldberg A. 1989 – Master metaphor list. UC Berkeley mimeo, 1989.
- Langacker R. 1987 – Foundations of cognitive grammar. V. 1. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.
- Langacker R. 1991 – Foundations of cognitive grammar. V. 2. Descriptive applications. Stanford, 1991.
- Laudan L. a.o. 1986 – Scientific change: philosophical models and historical research // *Synthese*. 1986. V. 69.
- Leech G. 1983 – Principles of pragmatics. L., 1983.
- Lehnert W.G. 1982 – Plot units: a narrative summarization strategy // *Strategies for natural language processing*. Hillsdale; N.Y., 1982.
- Lehnert W.G. 1987 – Possible implications of connectionism // TINLAP-3: Theoretical issues in natural language processing / Ed. by Y. Wilks. Las Cruces (NM), 1987.
- McCawley J.D. 1985 – Kuhnian paradigms as systems of markedness conventions // *Linguistics and philosophy* / Ed. by A. Makkai and A.K. Melby. Amsterdam; Philadelphia, 1985.
- Markov I. 1982 – Paradigms, thought, and language. N.Y., 1982.
- Mey J.L. 1989 – A pragmatic look at artificial intelligence or: The proper treatment of connectionism // Suomen kielitieteellinen yhdistys 1989. Helsinki, 1989.
- Newell A. 1989 – The knowledge level // *Artificial intelligence*. 1982. V. 18. № 2.
- QSD 1985 – Quantified studies in discourse (Text, 1985, V. 5, № 1/2) / Ed. by Givón T.
- Regier T. 1995 – A model of the human capacity for categorizing spatial relations // *Cognitive linguistics*. 1995. V. 6. № 1.
- Schank R.C., Childers P.G. 1984 – Cognitive computer. Reading (Mass.), 1984.
- Simon H.A. 1976 – Administrative behavior. N.Y., 1976. 3d ed.
- Talmy L. 1983 – How language structures space // *Spatial orientation: theory, research, and application* / Ed. by H.L. Pick, Jr., L. Acredolo. N.Y., 1983.
- Talmy L. 1985 – Lexicalization patterns: semantic structures in lexical forms / *Language typology and syntactic description*. V. 3. / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985.
- Talmy L. 1988 – The relation of grammar to cognition // *Topics in cognitive linguistics* / Ed. by B. Rudzka-Ostyn. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
- Talmy L. 1988 – Force dynamics in language and cognition // *Cognitive science*. 1988. V. 2.
- Talmy L. 1995a – The windowing of attention in language (в печати).
- Talmy L. 1995b – Fictive motion in language and "ception" // *Language and space* / Ed. by P. Bloom et al. Cambridge (Mass.); L., 1995.
- Thompson S.A. 1988 – A discourse approach to the cross-linguistic category "adjective" // *Explaining language universals* / Ed. by J.A. Hawkins. Oxford, 1988.
- Varela F.J., Thompson E., Rosch E. 1993 – The embodied mind: cognitive science and human experience. Cambridge (Mass.); L., 1993.
- Wierzbicka A. 1991 – Cross-cultural pragmatics: the semantics of human interaction. B., 1991.
- Yngve V.H. 1975 – Toward a human linguistics // *Chicago linguistic society. Papers from parasession on functionalism*. Chicago, 1975.